Бросок на юг

Автор:
Константин Паустовский

Бросок на юг

Константин Георгиевич Паустовский

Повесть о жизни #5

…Нет ничего человечнее слез от любви, нет ничего, что бы так сильно и сладко разрывало сердце. И нет ничего омерзительнее, чем равнодушие человека к своей стране, ее прошлому, настоящему и будущему. К ее языку, быту, к ее лесам и полям, к ее селениям и людям, будь они гении или деревенские сапожники. Автобиографическая «Повесть о жизни» – это размышления Константина Паустовского, вошедшие в шесть книг. Вниманию читателя предлагается пятая книга «Бросок на юг».

Константин Паустовский

Повесть о жизни. Бросок на юг

Короткое объяснение

Эта книга – пятая по счету из автобиографического цикла «Повесть о жизни». В ней мне пришлось «по ходу пьесы» отойти от России и перенести действие на крайний юг – на Кавказ и в Закавказье.

Снова я попал в края, где только что установилась Советская власть. Так случилось, что все время я с большими перерывами догонял движение

революции на юг. По этой причине ее развитие представляло для меня не прямую линию, а причудливые петли и возвраты. Пережитое год назад возвращалось, но в ином виде и с разными добавочными событиями.

Я оторвался от России почти на два года. Но не жалею об этом: я многое за это время узнал.

Событий и людей в книге много, но все же гораздо меньше, чем было в действительности.

По довольно разумным законам драматургии, пьесы обычно делятся на несколько точных частей.

Вначале – экспозиция, то есть введение читателя и зрителя в круг людей, событий и пейзажа. Затем – развитие действия, после чего наступает кульминация – высший подъем, взрыв, самая напряженная часть пьесы. Тогда зрители начинают волноваться, привстают в креслах и даже вскрикивают.

В кино типичнейший пример кульминации – это погоня. Эти бешено скачущие всадники (чтобы убить врага или спасти любимую девушку) обошлись мирной, в особенности юной, части человечества довольно дорого и истрепали уйму нервов.

К сожалению, мы не знаем, как измеряется потрепанность нервов. В наш нервический век наука еще не дошла до того, чтобы найти способы этого измерения.

Подлинная жизнь, описанная мною, как это ни кажется странным, сама по себе сложилась в те годы по законам драматургии.

Первая книга («Далекие годы») может быть названа экспозицией, неторопливым введением к повествованию. Вторая («Беспокойная юность») дает развитие действия; третья и четвертая («Начало неведомого века» и «Время больших ожиданий») соответствуют наибольшему напряжению, а пятая («Бросок на юг») приносит с собой некоторую разрядку. Это всегда происходит и в пьесах. Драматург делает разрядку, чтобы зритель немного отдохнул. А затем подходит закономерный конец.

Здесь сама жизнь устроила разрядку, некоторое отступление от основной темы. Она перенесла автора на Кавказ с его пестротой событий, людей и природы и, кроме того, наполнила жизнь южным жизнелюбием и юмором. На юге он не иссякает ни при каких обстоятельствах и не отступает ни перед чем.

Благодарность читателю

Эту книгу я хочу начать с благодарности одному из читателей – отставному капитану первого ранга А.И. Малову, живущему в Севастополе.

Капитан Малов проверил в предыдущей автобиографической повести «Время больших ожиданий» все, что имело хотя бы косвенное отношение к морю, и прислал мне несколько замечаний.

Обширные и живые познания капитана в морском деле придают его замечаниям характер коротких морских рассказов. В письме капитана включены своего рода небольшие исследования о цвете берегов Северо-Западного Крыма, о так называемой «башне Ковалевского» под Одессой, служившей путеводным знаком для штурманов, о многих подробностях морского дела, настолько интересных, что из них неизбежно рождается морской романтизм.

Я приведу без всякого выбора всего три замечания, присланные мне капитаном.

Из этих замечаний каждому станет ясно, как человек относится к своему делу.

Прежде всего, он его уважает и не терпит по отношению к нему легкомыслия.

В одном месте книги я взял в кавычки слово «лоция». Это сейчас же вызвало справедливое возражение старого моряка: «Не надо принижать лоцию и брать ее в кавычки».

В другом месте я опрометчиво написал, что Тарханкутский мыс и маяк с давних пор пользуются дурной славой среди моряков. Мой капитан по этому поводу замечает: «Это правильно. Но зачем вы упоминаете маяк? Мыс – это да! А спасительный, предупреждающий, ориентирующий маяк, хотя и носящий

(нелюбимое моряками) имя Тарханкутского, не поминается лихом. Моряки маячные огни почитают, а вот мысы, узкости и другие навигационные опасности не славословят».

И, наконец, совершенно трогательно выглядит заступничество капитана за обиженный мною пароход «Пестель».

Несколько раз я плавал на «Пестеле», привык к нему и даже полюбил его. В первые годы Советской власти он единственный поддерживал связь между Кавказским побережьем и Россией.

Но я написал, что «Пестель» был дряхлый и тесный пароход – такой же, как и старая посудина «Димитрий» (эта последняя так называемая морская «коробка» сделалась одним из неодушевленных героев книги «Время больших ожиданий»).

Эти мои слова вызвали ответ капитана:

«Вы слишком одряхляете „Пестеля“. Он был иным, чем „Димитрий“. Он был моложе, мореходнее и иной корабельной архитектуры. За свой внешний вид, удивительно красивое строение корпуса, рангоута и надстроек, „Пестель“ у всех моряков торгового и военного флота пользовался глубоким уважением, симпатией и даже особой любовью.

„Пестель“ погиб в 1943 году. Он был торпедирован в районе Анатолийского побережья. До 1941 года он плавал на линии Одесса – Батум, а с наступлением войны стал транспортом. Память о нем жива среди старых черноморцев».

Заканчивая это небольшое вступление к книге, я хочу пожелать каждому писателю таких взыскательных читателей, как капитан Малов.

И вместе с тем я не могу удержаться, чтобы лишний раз не позавидовать капитану за то, что он живет в Севастополе, и лишний раз не написать об этом колдовском городе.

Пишу я это в Ялте. Пишу медленно, часто откладываю перо и думаю, что на днях я непременно поеду в Севастополь.

В Севастополе меня встретит знойная осень. В узкой тени от подпорных стен еще будет зеленеть пыльная трава. Я не знаю даже, как называется эта курчавая скромная трава. Она довольствуется одной росой и героически переносит палящее севастопольское лето. К тому же она издает приятный слабый запах. Он напоминает запах перегоревших от солнца черных водорослей, которыми бывают усеяны пустынные пляжи. Эти водоросли покрыты мельчайшими крупицами соли. Если растереть веточку такой водоросли пальцами, то она рассыплется в бурый порошок.

Сейчас над Севастополем нависла жара. Кажется, что кто-то невидимый осторожно налил ее во все севастопольские улицы и дворы до уровня черепичных крыш. Под слоем этой тяжелой жары требовательно звенят в своих подземельях цикады.

В Севастополе можно часами сидеть на Историческом бульваре, томясь от духоты, и вдруг глубоко вздохнуть, когда нежданный ветер прорвется по невидимому фарватеру среди стен, оград, памятников, остатков бастионов, кустов акации и ударит в лицо. Это спасет вас от обморочной слабости и напомнит, что рядом, за Корабельной стороной, за Братским кладбищем, брызжет волной Черное море.

Севастопольские бухты врезаны в ноздреватые берега, как в окаменелую губку. На этом губчатом песчанике растут, вытягиваясь из щелей, слабые колоски, а иной раз и вылинявшие цветы величиной со спичечную головку. Очевидно, в растительном мире их считают карликами. А может быть, детьми.

Я человек с длинной жизнью. Мне пришлось пережить почти все, что может случиться на свете с человеком того возраста, когда, по словам Есенина, «пора уже в дорогу бренные пожитки собирать»[1 - «…пора уже в дорогу бренные пожитки собирать». – Строка из стихотворения С. Есенина «Мы теперь уходим понемногу…» В оригинале: «скоро мне в дорогу…»]. И вот я завидую этим колоскам, потому что дни, недели и месяцы они стоят над морем немыми свидетелями жизни. И никто от них не требует обязательного выражения своих чувств.

Мне даже кажется, что для них время движется медленнее, чем для нас, и они – неподвижные – видят мир спокойнее и лучше, чем мы.

Что касается меня, то я всю жизнь переходил от непрерывной деятельности к жажде того состояния, когда «студеный ключ, играя по оврагу и погружая жизнь в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда льется он»[2 - …«студеный ключ, играя по оврагу…» – Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…». В оригинале: «Когда студеный ключ играет по оврагу // И, погружая мысль в какой-то смутный сон, // Лепечет мне таинственную сагу // Про мирный край, откуда мчится он».].

Да, иной раз я хотел испытать хотя бы ничтожную долю состояния, когда погружаешься в какой-то смутный сон. Но я хорошо знал, что такое состояние только называется сном. На самом же деле оно наполнено плодоносным напряжением.

Я завидовал колоскам. Перед ними медленно сменялись рассветы и полудни, вечерние зори, белое качание теплоходов в шумящих водных далях, лучи солнца, бьющие из-за туч, мелкая роса, похожая на светящуюся манну, и звезды, подобные большой росе.

Перед этими ничтожными травинками все время проходили разные мгновения жизни в их подлинном великолепии. И все это возвращалось каждый раз при наступлении нового дня.

Но зависть быстро умирала, когда по ту сторону Южной бухты проносились в сумерках и гасли в туннеле огни скорого поезда. Эти огни уводили от архаической мглы Херсонеса и Инкермана, от диких обрывов мыса Айя и Фиолента туда, на север, где, должно быть, уже сыпались, наполняя воздух горечью, желтые березовые листья.

Я думаю, что мир в равной степени достоин медленного и плодотворного созерцания и разумного и мощного действия. Созерцание – одна из основ творчества и любви к земле, в первую очередь к своей, отечественной.

Я вижу, что разговор о Севастополе начинает заводить меня слишком далеко. Поэтому я обрываю его и перехожу к повествованию.

Знатоки литературы, не пишущие книг, утверждают, что повествованию нужна железная последовательность. Пишущим книги остается только принять на веру этот закон и постараться выполнить его.

Табачная республика

Когда «Пестель» стоял в Новороссийске, на город начал надвигаться норд-ост. Появился первый признак этого бесноватого ветра: по горам потянулось облако, похожее на жгут грязной ваты. Сами же горы напоминали мертвых верблюдов с выпершими из-под пыльной шкуры ребрами.

Ватный жгут разворачивался, сползал с гор и нес с собой ветер. Надо было отваливать, пока норд-ост не успел еще обрушиться на порт. Ветер уже злорадно подсвистывал в снастях и начисто выплескивал из луж беловатую воду.

«Пестель» снялся и полным ходом начал уходить в море, к югу. По свидетельству моряков, норд-ост по мере удаления от Новороссийска быстро ослабевает и теряет свою разрушительную силу.

Нам удалось уйти от норд-оста.

Ночью я проснулся, увидел за иллюминатором в низком мраке озябшие огни Туапсе и снова уснул.

Засыпая, я думал, что, судя по началу, не стоит ждать от Кавказского побережья ничего особенного. Но утреннее мое пробуждение оказалось почти феерическим.

Я проснулся и долго лежал, не открывая глаз, ощущая у себя на лице чьи-то теплые ладони. От них пахло цветущей мимозой.

Это был, конечно, утренний бриз. Он заполнил каюту, лениво бродил по ней и прикасался ко всему, что попадалось ему на пути, в том числе и к моим щекам.

Сквозь полусон я вспомнил, что вот уже пятый день не брился и наверняка исцарапаю своей щетиной эти милые ладони. Мне стало стыдно, я решил тотчас побриться и, должно быть от этого, окончательно проснулся.

Позванивала якорная цепь. С палубы доносились обычные портовые возгласы: «Вира[3 - Вира – термин гражданского флота, обозначает: выбирай, поднимай при погрузке и выгрузке.], чертов банабак! Майна помалу!»[4 - Майна помалу. – «Майна» – термин, применяемый в торговом флоте при погрузке судов. Означает: трави, опускай.]

Наконец я открыл глаза. За иллюминатором блистало солнце, занявшее половину неба и половину моря и как бы приблизившееся к земле. В его победоносном свете качалась снаружи живая стена роскошной растительности.

На нее то тут, то там были брошены разноцветные мазки из киновари, чистейших белил и охры. Я закрыл глаза, помотал головой и, снова открыв глаза, убедился, что это не мазки масляной краски, а разбросанные по листве незнакомые цветы.

«Что это? – спросил я себя и сел на койке. – Мираж? Или остров Таити? Или райские острова Самоа?»

Нет, это не было ни миражем, ни островом Таити, ни галлюцинацией после мрачной ночи. Я услышал за иллюминатором хрипловатый голос второго помощника капитана.

– Ни-ко-го! – сказал он решительно. – Никого не спустим на берег. Ясно? Хоть самого Шолома Алейхема[5 - Шолом-Алейхем (наст. имя Шолом Нохумович Рабинович; 1859–1916) – еврейский писатель.]. Приказ правительства Абхазской Республики! Точка! Так что можете полюбоваться Сухумом с палубы и не полировать себе кровь. Еще, даст Бог, поживете на свете и увидите всё, что вам надо увидеть, и даже то, чего вам совсем не надо бы видеть.

Я быстро оделся и вышел на палубу. Блеск медных пластинок, набитых на ступеньки трапа, ослепил меня. Короткое головокружение заставило схватиться за поручни.

С берега наплывали терпкие запахи, сливаясь с чуть ощутимым шелковистым веянием роз.

Запахи то сплетались в тугой клубок, сжимая воздух до густоты сиропа, то расплетались на отдельные волокна, и тогда я улавливал дыхание азалий,

лавров, эвкалиптов, олеандров, глициний и еще множества удивительных по своему строению и краскам цветов.

Я решил сойти на берег в Сухуме, чего бы это ни стоило. И не только сойти, но и остаться здесь.

Мне казалось, что если я сойду, то сбудутся мечты моего детства. Мечты о том, чтобы, на худой конец, хотя бы прикоснуться к ворсистым стволам кокосовых пальм, к изумрудной коре бамбука – всегда холодной и глянцевитой, к земле, розовой от кораллового песка.

Такие мечты я, когда был еще мальчишкой, называл, подражая маме, «несбыточными». Это слово я часто слышал от нее, когда она сердилась на отца. Она даже кричала на него. Когда же он, сгорбившись, покорно уходил из дому, чтобы избежать постоянных попреков, то мама плакала от жалости к нему и брала с меня слово, что я буду всю жизнь любить его и беречь, как ребенка. «Я не могу смотреть на его сгорбленную спину», – говорила она с отчаянием.

Но ни она, ни я и никто из близких не уберегли его – это мучило маму до самой ее смерти.

В детстве я, конечно, не испытывал никакой горечи от «несбыточного». Да и не мог испытывать. Я только догадывался, что это чувство очень грустное и что оно, как однажды сказал отец, опустошает ни в чем не повинное человеческое сердце.

Когда я был уже восьмиклассником, я нашел в письменном столе отца узкие полоски бумаги, исписанные его рукой. Я смог разобрать только одну фразу – о том, что несравненно тяжелее пережить несбывшееся, чем несбыточное.

С тех пор слабая печаль о несбывшемся почти не оставляла меня, несмотря на мой внешне веселый характер. С тех пор меня в жизни привлекали больше всего такие случаи, обстоятельства и люди, которые оставляли ощущение промелькнувшей небылицы.

Я понял смысл отцовских слов и еще больше полюбил его, но уже на том страшном отдалении, на каком мы с ним находились сейчас. Он лежал в потрескавшейся от засухи земле, среди колючего чертополоха, на деревенском

кладбище под Белой Церковью, а я скитался по свету один.

Мы навсегда потеряли друг друга. Но я еще хоть изредка мог вспоминать о нем. А он меня не мог даже вспомнить.

Я твердо решил остаться в Сухуме. Но как это сделать?

«Пестель» стоял на якоре далеко от берега. Только две широкие турецкие лодки (их называли «магунами») были пришвартованы к его борту. С них лебедкой грузили на «Пестеля» обшитые холстиной тюки табака. На берег никого не пускали из-за объявленного абхазскими властями загадочного карантина.

Я пошел к капитану и сказал ему, что мне нужно, как сотруднику «Моряка», хотя бы на час съехать на берег. Капитан поморщился.

– Надо поговорить со смотрителем порта, – сказал он. – Тяжелый мужчина. Ну, все равно. Пойдемте.

Смотритель порта, человек с рыжими, как прокуренные усы, бровями, решительно и грубо отказался пустить меня на берег.

– Кредит, – сказал он грозно, – портит отношения.

При чем здесь был кредит, я не понял.

Капитан настаивал, и смотретель порта наконец сдался.

– Можете выкатываться, – сказал он мне, – но только в том виде, в каком вы сейчас стоите передо мной. Без чемодана, без всякого барахла и даже без кепки. И прямо отсюда на берег, не заходя в каюту.

– Почему? – спросил я, хотя прекрасно понял, что смотритель боится, как бы я не захватил в каюте деньги и не остался в Сухуме.

– Я имею привычку, – ответил он, – обижаться на лишние расспросы. Если согласны, спускайтесь в магуну. Она сейчас отвалит. А следующей магуной вернетесь. Популярнее объяснить не могу.

Я слез в магуну по веревочному трапу. Пока я еще не представлял себе, как вывернусь из этого затруднения с Сухумом. Меня успокаивало лишь то, что все деньги были при мне. Чемоданом я решил пожертвовать: там ничего ценного не было, кроме трех чистых рубах. Рукопись своей первой повести «Романтики» я оставил в Одессе.

В магуне першило горло от табачной пыли. Через борт лениво заглядывала малахитовая волна. Грузчики-абхазцы с хищными лицами яростно кричали. Пыльные мешки были гордо обвязаны вокруг их голов.

Мне показалось, что грузчики собираются выбросить меня в море. Но смотритель порта крикнул им что-то по-абхазски. Они сразу успокоились и даже угостили меня табаком «самсун».

От этого табака у меня на несколько секунд остановилось дыхание. Солнце завертелось в небе. Абхазцы сочувственно покачали головами и нехотя взялись за тяжелые весла. Магуна поползла, переваливаясь, к таинственному берегу.

Для того чтобы понять, что происходило в то время в Сухуме, нужно рассказать про общую обстановку на том клочке кавказского берега, где простиралась у подножия гор душная и маленькая Абхазия.

Советская власть в Абхазии была установлена совсем недавно. Старое перемешалось с новым, как перемешиваются вещи в корзине от сильного толчка.

Конечно, только молодостью Советской власти объяснялись все те казусы и удивительные положения, какие возникали в тогдашней Абхазии и напоминали нравы маленькой южноамериканской республики, описанные веселым пером О. Генри в его книге «Короли и капуста».

Первое время своей жизни в Сухуме я постоянно терял веру в действительность того, что происходило вокруг. У меня как бы расшаталось чувство времени и обстановки.

Если бы я увидел тогда на рее шхуны «Три брата» контрабандиста в крепко просмоленной петле, я бы, пожалуй, не очень удивился. Если бы в заливе остановился круглый бронированный монитор[6 - Монитор – класс артиллерийских надводных бронированных кораблей для борьбы с береговой артиллерией, уничтожения кораблей противника.] времен войны между Северными и Южными штатами и начал швырять на Сухум ядра, маленькие, как дыньки канталупы, я не был бы особенно поражен.

Если бы моя сухумская хозяйка, семидесятилетняя мадемуазель Генриетта Францевна Жалю, бывшая гувернантка, оказалась бывшей любовницей бывшего владетеля Абхазии светлейшего князя Шервашидзе, то в этом тоже не было бы ничего особенного. Я продолжал бы невозмутимо пить чай с подаренным мне престарелой мадемуазель кислейшим в мире кизиловым вареньем. Сироп этого варенья напоминал кровь горного заката.

Что же происходило в Абхазии на самом деле?

Маленькая страна, тесно зажатая с трех сторон областями, где люди умирали от сыпняка, решила спастись самым доступным и нехитрым способом – отрезать себя от остального мира и следить, чтобы ни одна мышь не перебежала границу.

Сделать это было сравнительно легко.

С севера Абхазию отгораживал Главный хребет. Единственный Клухорский перевал в то время был непроходим – вьючная тропа в нескольких местах обрушилась. Днем и ночью без устали сползали и дымили по обрывам лавины.

С севера, со стороны Сочи, и с юга, со стороны Аджарии, шоссе и мосты были взорваны во время гражданской войны и загромождены множеством осыпей и обвалов.

Оставался единственный путь – море. Но на море не было пароходов, если не считать «Пестеля».

Всего легче было объявить карантин против сыпняка и никого не пускать с парохода на берег. Так местные власти и поступили.

А между тем по всему Черноморью и соседним землям ширился слух о существовании на кавказском берегу маленького рая с фантастическим изобилием продуктов и волшебным климатом. Все рвались в этот рай, но он был наглухо закрыт.

Этот рай назывался Абхазией. О ней мало знали в то время. О ней почти не было ни газетных статей, ни книг, и, кроме чеховской «Дуэли», не было напечатано ни одного рассказа, действие которого происходило бы в Сухуме.

Для меня все в Абхазии было тогда чужим – и горы, и реки, и растительность, и народ.

Огромные горные вершины – их имен я еще не знал – отчетливее всего выделялись на закатах. Их ледяные зубцы тлели густым жаром заходящего солнца.

Первое время мне с непривычки казалось, что исполинские эти хребты медленно двигаются с северо-запада на юго-восток, как бесконечная вращающаяся панорама.

Чтобы избавиться от этого ощущения, я взглядывал на что-нибудь вблизи себя – на дома, на камни под ногами, – тогда горы вдруг останавливались.

Это первое, даже несколько зловещее, впечатление от гор прошло только весной, когда я попал в глубь Абхазии и увидел горы во всей силе буковых лесов, в кипении пенистых рек, в размахе растительности.

У меня в Сухуме не было знакомых, и я часто бродил по окрестностям города один. Отходить далеко я не решался.

По словам старожилов, в десяти километрах уже начинался встревоженный войной и междоусобицей Кавказ. На любом повороте горной дороги можно было получить пулю в спину или погибнуть под внезапным обвалом.

Успокоение приходило на Кавказ медленно, исподволь, только с приходом Советской власти.

Поэтому дальше реки Келасуры, впадавшей в море в пяти километрах от города, я не ходил. Но и эта река была полна загадок.

На поворотах Келасура намывала маленькие песчаные косы. Они горели под солнцем, как золотой песок.

В первый раз попав на Келасуру, я намыл из этого берегового песка горсть темно-золотых чешуек – веселых и невесомых. Но через час они почернели и стали похожи на железные опилки.

В Сухуме мне объяснили, что это не золото, а серный колчедан. Но все же я его не выбросил, а высыпал горкой на подоконник. Я наивно надеялся, что под лучами солнца колчедан снова начнет излучать золотой блеск. Но этого не случилось.

Растительность тоже была загадочной – и древняя, существовавшая в Абхазии тысячи лет, и новая, пересаженная из Японии, Италии, Индии, Полинезии и других стран. Первыми на сухумском берегу развели эту заморскую растительность ученые-ботаники и местные плантаторы-садоводы.

Растительность поражала головокружительными запахами, причудливыми формами и громадными размерами.

За домом мадемуазель Жалю – последним домом в городе на горе Чернявского – стояли заросли высоких и душистых азалий. В этих зарослях прятались шакалы. От запаха азалий болела голова.

Позади этих азалиевых полей темнела стена лакированной бамбуковой рощи. При малейшем ветре листья бамбука не шумели, как наша северная листва, а перешептывались. Если же ветер усиливался, то листья извивались, как маленькие змейки, и тихо свистели – тоже как маленькие злые змейки.

И абхазцы казались загадочными. Большей частью это были люди сухощавые и клекочущие, как орлы. Они почти не слезали с седел. Кони, такие же сухощавые, как и люди, несли их, перебирая тонкими ногами.

Почти у всех абхазцев были профили, достойные, чтобы их отлить из бронзы.

Мужчины отличались гордостью, вспыльчивостью, рыцарской честностью, но были угрюмы и неторопливы. Работали женщины. В тридцать лет они уже выглядели старухами.

Я часто встречал женщин на дороге из горных селений в Сухум. Они брели согнувшись, касаясь одной рукой земли, едва дыша под тяжестью мешков с кукурузой или вязанок хвороста. А впереди на лоснящихся конях ехали подбоченясь мужчины – мужья, а иной раз сыновья и даже внуки этих женщин. Пояски с серебряным набором сверкали на их тонких черкесках.

Они проезжали мимо с бесстрастными лицами признанных красавцев. Но все же им было не по себе. Я сужу об этом по тому, что они не выдерживали осуждающего взгляда, отворачивались и пускали коней вскачь.

Я пытался помочь женщинам, иногда совсем маленьким девочкам, но женщины так шарахались от меня и у них появлялась в глазах такая испуганная мольба, что я перестал помогать, понимая, что от этого им будет хуже.

Когда-то многие из этих женщин были, очевидно, красивыми. Судить об этом можно было только по глазам и пальцам. Женщины на ходу прикасались пальцами к земле, как бы отталкиваясь от нее: должно быть, так было легче тащить непосильную ношу.

Иногда я замечал у какой-нибудь старухи тонкие и нервные губы или молодой блеск глаз, и тогда становилось ясно, что эта женщина совсем не старуха. Старухой ее сделала вьючная жизнь.

Изредка женщины останавливались и вытирали тыльной стороной кисти слезящиеся глаза. Но то были слезы не горя и обиды, а бесконечной усталости.

Среди тогдашней мешанины нового и старого самым удивительным на первый взгляд было существование в Сухуме свитского генерал-адъютанта, бывшего феодального владетеля Абхазии и, как говорили, морганатического мужа старой государыни Марии Федоровны, князя Шервашидзе.

Его не трогали, – должно быть, оттого, что старый этот князь давно спился.

Он жил в небольшом домике на окраине Сухума. В первую советскую осень некоторые крестьяне еще привезли ему по привычке феодальную дань – кукурузу, табак, козий сыр и алычу.

В день доставки дани Сухум содрогнулся от пронзительного, просверливающего череп визга, как будто на базаре вопили, барахтаясь в мешках, сотни поросят.

То визжали несмазанными колесами арбы. Их волокли невозмутимые буйволы. Они даже не косились на черепа своих сородичей – лошадей, выставленные на заборах абхазских дворов от дурного глаза.

Услышав визг, я проснулся и выглянул в окно. Индиговое небо не грозило никакими бедами. Оно радостно трепетало. Но визг неумолимо накатывался и окружал Сухум со всех сторон.

Генриетта Францевна крикнула мне, что это жители Цебельды, Мерхеул и еще каких-то селений свозят дань Шервашидзе. Она пообещала, что визг скоро затихнет, но возобновится к вечеру, когда аробщики напьются в духане «Завтрак на ходу» – молодого вина – маджарки, споют в честь родственников и знакомых застольную песню и поползут обратно.

В год моего приезда это была последняя дань. Шервашидзе предусмотрительно отказался от нее, оставив себе немного кукурузы.

Он считал себя рыцарем, этот старый князь. Он говорил на таком приподнятом русском языке, что даже русские приходили в недоумение. Я слышал его русские разговоры. Каждую фразу он начинал напыщенным словом «благоволите»…

То был старик с пунцовым, сытым лицом пропойцы, но с величавой осанкой. Ходил он в тонкого сукна черкеске с газырями, без погон, но с аксельбантами, и, выпив, любил спать на скамейках бульвара.

Двоякий смысл слова «легенда»

У слова «легенда» двоякий смысл.

Это или поэтическое народное предание (большей частью псевдонародное), или объяснение разных условных знаков на географической карте.

С детства я любил географические карты и планы и с детства же недоверчиво относился к легендарным преданиям. Особенно к восточным. Они казались мне бутафорскими.

Может быть, эта неприязнь появилась после чтения путеводителей, где рассказывалось много скучных и неестественных легенд чуть ли не о каждой пещере, скале, роднике и могиле.

Вообще же, если отбросить этот недостаток, путеводители – увлекательные книги. Почти нет людей, которые не любили бы их читать. Еще в юности для меня и для подростков в таком же роде, как и я, каждый путеводитель был как бы бесплатным путешествием в интересные страны. Каждый путеводитель давал множество толчков воображению.

Никак нельзя было догадаться, в какие происшествия могло нас завести сухое сообщение путеводителя о том, сколько стоит поездка на извозчике по Лиссабону и нужно ли торговаться на рынке в Бриндизи.

Так вот… Стоит узнать, сколько берет извозчик в Лиссабоне, как тотчас возникнет желание нанять его и проехать по старым улицам города, политым водой, к пышному собору, а потом в порт. Там вы невзначай увидите, как ветер с океана сорвет зеленую шаль с красивой женщины, тонкой, как лилия – я не настаиваю на этом сравнении, – и унесет эту шаль в море. А женщина, смеясь, прижмет ладонями к вискам свои черные глянцевитые волосы, чтобы их не растрепывал ветер.

Это была захватывающая и вместе с тем трудная игра – путешествия по путеводителям. Она вся была построена на воображении. Вначале она приносила радость, а потом разочарование. Причина этого разочарования заключалась в разбуженном путеводителями желании невозможного.

Но все же будьте милостивы к воображению! Не избегайте его. Не преследуйте, не одергивайте и прежде всего не стесняйтесь его, как бедного родственника!

Это тот нищий, что прячет несметные сокровища Голконды.

Легенды (фольклорные) давно связаны для меня с гидами. Временами мне кажется, что эти легенды специально выдуманы на потребу гидам, для того чтобы занимать болтовней туристов.

В одинаковых белых войлочных шляпах, обшитых ленточками с помпончиками, с одинаковыми кизиловыми палками-рогатками, где выжжена надпись: «Память о Сочи» или: «Привет из Симеиза», в пыльных тапочках, туристы ходят потными толпами среди всяких достопримечательностей и стараются запомнить побольше легенд.

Рюкзаки у туристов набиты сувенирами, главным образом открытками и рамками для фотографий, обклеенными морскими ракушками.

Вместо этих ракушек туристы привозят домой слоистую перламутровую труху и смутные впечатления. Но это не останавливает их в упорном рвении все осмотреть «по плану», ничего толком не увидев как следует и ничего как следует не узнав.

Я – за туризм, но без пошлости, которая его часто окружает.

Опять я нарушил последовательность повествования. В этом виновата моя непокорная память. Прошу прощения и возвращаюсь вспять, чтобы оттуда снова двинуться вперед. Возвращаюсь к географическим картам с их скупыми на слова объяснениями – «легендами». Вернее, я возвращаюсь к «легенде» Сухума, к его топографическому очерку, но буду упоминать только те места, что так или иначе сыграют роль в дальнейшем рассказе.

Отправной точкой топографического описания я беру дом и сад мадемуазель Генриетты Францевны Жалю, где я жил в то время в Сухуме.

Я располагаю описание по радиусам, убегающим от этого низкого дома и маленького сада. Там рос у меня под окном добродушный банан со слоновыми нежно-зелеными ушами.

Но прежде чем перейти к этому описанию, я скажу несколько слов о том, как я остался в Сухуме.

Пока «Пестель» не отвалил из Сухума в Поти, я ушел из предосторожности подальше от набережной. Мне мерещилось, что меня обязательно поймают и вышлют из Сухума.

Так я добрел до горы Чернявского, а на ней – до последнего, уединенного дома Генриетты Жалю.

Старушка, несмотря на полное отсутствие у меня каких бы то ни было вещей, охотно сдала мне комнату. По стенам ее бегали мохнатые сороконожки.

Вечером, когда опасность прошла, я решил спуститься в город, чтобы поужинать в духане. Там на липких от лилового вина дощатых полах бравурно отплясывал лезгинку тощий, маленький старик в толстых очках и в слишком длинной для него серой черкеске.

Его приятели, сидя за столиком, снисходительно хлопали в ладоши, а духанщик щелкал на счетах, не обращая никакого внимания на добросовестно веселящегося старика.

Старик, окончив танцевать, пригласил меня к своему столику. Он сразу узнал во мне приезжего. Вопреки моему предположению, старик был совершенно трезв и не имел никакого отношения к абхазцам или к каким-либо другим горским народам. Он оказался тифлисским евреем по фамилии Рывкин. Он служил в Сухуме в Союзе кооперативов Абхазии – Абсоюзе – и просто любил в свободное время потанцевать лезгинку.

Он тут же пригласил меня к себе в Абсоюз вести деловую переписку. Вообще в Сухуме мне чертовски повезло.

Но вернемся к топографии.

Посреди сада у Генриетты Францевны была устроена на уровне земли глубокая цементная цистерна для дождевой воды. Воды от весенних дождей Генриетте

Францевне хватало почти до осени. Вокруг цистерны росли пальмы с мощными опахалами.

Рядом с усадьбой Генриетты была небольшая поляна, покрытая желтым и лиловым бессмертником. Изредка по поляне проползали змеи.

По другую сторону поляны стоял мингрельский дом на сваях, с длинной дощатой террасой. Двери и окна в этом доме были крест-накрест заколочены тесом, а вокруг разрослись такие дебри лавровишен и терновника, что подойти к дому было почти невозможно.

Позади дома шли заросли азалии. Там весь день наигрывали на дудках, как оркестр зурначей, недовольные шмели.

За этими зарослями лежала в разноцветном дыму, в бросках солнечного света, мгновенно перелетавшего (вместе с тенью от туч) через горные вершины и бездонные пропасти, в изломанном блеске глетчеров, в трепещущей листве, в клубящихся взрывах белых облачных громад над вершинами Большого Кавказа та загадочная, зовущая и пугающая страна, где погиб Одоевский[7 - Одоевский Александр Иванович (1802–1839) – русский поэт-декабрист.], где дрался под зеленым знаменем пророка Шамиль[8 - Шамиль (1799–1871) – третий имам Дагестана и Чечни, руководитель освободительной борьбы кавказских горцев против царских колонизаторов и местных феодалов под лозунгами мюридизма, основатель имамата.], где был убит Бестужев-Марлинский, где насмешливо тосковал Лермонтов.

Временами мне казалось, что я вижу все это. Вижу Кавказ времен его покорения: выгоревшие шинели и околыши, коричневые лица, прогорклые трубки, медь эфесов, завалы из колючих ветвей, быстрые струи порохового дыма, – вижу весь этот взволнованный войной и «трехпогибельный Кавказ».

Вижу «серебряный венец» неприступных гор, «престолы природы, с которых, как дым, улетают багровые тучи»[9 - …«престолы природы, с которых, как дым, улетают багровые тучи». – Строка из «Опыта ритмической прозы» М. Ю. Лермонтова «Синие горы Кавказа, приветствую вас!..». В оригинале: «с которых, как дым, улетают громовые тучи…»]. Все это было сказано Лермонтовым в полном соответствии с его томительной любовью и тоской. А через семьдесят лет другой поэт сказал о Лермонтове слова, похожие на

рыдание:

В томленьи твоем исступленном

Тоска небывалой весны

Горит мне лучом отдаленным

И тянется песней зурны[10 - «В томленьи твоем исступленном…» – Из стихотворения А. Блока «Демон».].

Там, на горе Чернявского, я чувствовал себя по временам среди немирного лермонтовского Кавказа. Вернее, мне хотелось так себя чувствовать. И жизнь, по своей дурной привычке потворствовать мечтателям, щедро награждала меня чертами этого старинного Кавказа.

Невдалеке за домом Генриетты я наткнулся на обтесанный продолговатый камень. Он был так густо покрыт желтыми лишаями, что надпись, некогда выбитую на этом камне, нельзя было уже прочесть… Может быть, здесь похоронен Одоевский? Или это была могила безвестного стрелка? Кто мог это знать?

Во всяком случае, появился повод для того, чтобы приносить на эту могилу цветы (их расклевывали и уносили птицы), сидеть на земле, облокотившись на камень, и смотреть, как у тебя на ладони тревожно и быстро дышит только что пойманная крошечная ящерица.

Несколько раз с гор приходила гроза. С наглым треском она разрывала молниями черное небо и катила перед собой, как мутный вал, гряду желтых туч.

Смерчи гигантскими волчками завивались над морем, изгибались и, будто споткнувшись, внезапно падали всей тяжестью на поверхность воды. Тогда море кипело.

Ревя, мчались по лощинам водопады, ворочая глыбы камней. Чернела и свирепела морская даль. Косые струи ливня вытягивались по ветру, почти не касаясь земли. И вдруг неожиданно вспыхивал, как взрыв, мокрый и горячий солнечный свет. Тогда несколько радуг, упираясь в устои гор, плавно подымали к небу мириады мельчайших водяных искр. Гроза кончалась.

После гроз над Сухумом повисал удушливый пар. Генриетта Францевна закрывала окна. Она говорила, что в этих испарениях размножаются невидимые миазмы. Их было так много, что становилось трудно дышать.

Миазмы, по словам Генриетты, вызывали малярию, сердечную слабость и ломоту в костях.

Было так душно, что обильный пот выступал на всем, что могло осаждать влагу. Все было мокрым и блестело, как только что вынутое из воды, – листья, заборы, скалы и черепичные крыши. Пот струями стекал с волос за шиворот и лился с пальмовых листьев, как из маленьких водосточных труб.

После одной из таких гроз я впервые испытал жестокое удушье, когда кажется, что легкие залиты свинцом. То были первые признаки астмы – безжалостной болезни, заставляющей человека дышать в четверть дыхания, говорить в четверть голоса, ходить в четверть шага, думать в четверть мысли и только задыхаться в полную силу без четвертей.

Сейчас, по прошествии многих лет, я хочу точно записать первые свои впечатления о Кавказе и Сухуме. Но я вижу, перечитывая записанное, что эти впечатления торопливы и не очень связаны друг с другом, хотя и не лишены единого ощущения места и времени.

Объясняется это, очевидно, тем недолгим и странным ослаблением чувства реальности, какое завладело мною в начале сухумской жизни.

Слишком велик был разрыв между голодным и обледенелым северным побережьем Черного моря и этой щедрой по своей природе страной, пропахшей цветами мимозы.

Она была щедрой и непонятной. Здесь веками слагался удивительный быт. Страна была закована в него, как в кольчугу.

Все здесь казалось странным.

Когда князь Шервашидзе входил в духан, посетители по привычке вставали. Учитель и писатель Димитрий Гулиа[11 - Гулия Димитрий (Гулиа Дмитрий

Иосифович; 1874–1960) – народный поэт Абхазской АССР; просветитель, зачинатель абхазской литературы.] – просветитель Абхазии – создал абхазскую письменность и открыл первый передвижной театр на арбах.

Советских денег еще не было. Ходили по рукам затертые турецкие лиры.

Шотландский пароход пришел за сухумским табаком и оставил взамен бочки с атлантической сельдью. После него пришел японский пароход и привез уйму риса и тростникового сахара. Поэтому вместо заработной платы служащим выдавали продукты. Каждые два дня давали в придачу ведро превосходного вина и пачку драгоценного табака «требизонд». В чистом виде «требизонд» курить было нельзя – он был слишком крепок и дорог. Его добавляли для вкуса к обыкновенным табакам.

На базаре продавали горных медвежат по рублю и связки окаменелых московских баранок, изготовленных, должно быть, еще до революции. Стоили баранки баснословных денег.

Побеги бамбука проламывали мостовые. За одну ночь они вытягивались на метр, а то и больше. Кровная месть не затихала. В аулах еще собирались судилища старцев.

Трудно было понять, в каком веке мы живем. На первый съезд Советов жители Самурзакани – самого непокорного края Абхазии – выбрали наиболее достойных представителей, тех, кто мог незаметно увести самого горячего коня. В этом старики самурзаканцы полагали тогда настоящую доблесть, а не в том, чтобы гнуть спины на кукурузных полях или табачных плантациях.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

«…пора уже в дорогу бренные пожитки собирать». – Строка из стихотворения С. Есенина «Мы теперь уходим понемногу…» В оригинале: «скоро мне в дорогу…»

2

…«студеный ключ, играя по оврагу…» – Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…». В оригинале: «Когда студеный ключ играет по оврагу // И, погружая мысль в какой-то смутный сон, // Лепечет мне таинственную сагу // Про мирный край, откуда мчится он».

3

Вира – термин гражданского флота, обозначает: выбирай, поднимай при погрузке и выгрузке.

4

Майна помалу. – «Майна» – термин, применяемый в торговом флоте при погрузке судов. Означает: трави, опускай.

5

Шолом-Алейхем (наст. имя Шолом Нохумович Рабинович; 1859–1916) – еврейский писатель.

6

Монитор – класс артиллерийских надводных бронированных кораблей для борьбы с береговой артиллерией, уничтожения кораблей противника.

7

Одоевский Александр Иванович (1802–1839) – русский поэт-декабрист.

8

Шамиль (1799–1871) – третий имам Дагестана и Чечни, руководитель освободительной борьбы кавказских горцев против царских колонизаторов и местных феодалов под лозунгами мюридизма, основатель имамата.

9

…«престолы природы, с которых, как дым, улетают багровые тучи». – Строка из «Опыта ритмической прозы» М. Ю. Лермонтова «Синие горы Кавказа, приветствую вас!..». В оригинале: «с которых, как дым, улетают громовые тучи…»

10

«В томленьи твоем исступленном…» – Из стихотворения А. Блока «Демон».

11

Гулия Димитрий (Гулиа Дмитрий Иосифович; 1874–1960) – народный поэт Абхазской АССР; просветитель, зачинатель абхазской литературы.

Купить: https://tellnovel.com/konstantin-paustovskiy/brosok-na-yug

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити